

ВЕЛИКАЯ? ФРАНЦУЗСКАЯ? РЕВОЛЮЦИЯ? (о новой книге А.В. Гордона)

Историки, занимавшиеся в СССР изучением Французской революции XVIII в., представляли собой в чем-то уникальную, а в чем-то вполне типичную корпорацию советских гуманитариев. Все революции, предшествовавшие Октябрьской, по понятным причинам вызывали повышенный интерес, но никакая другая не стала частью нашей национальной памяти вне зависимости от того, именовали ее революцией-прототипом или революцией-антиподом – едва ли вообще можно назвать какое-то иное событие зарубежной истории, которое у нас в стране привлекало бы к себе внимание такого большого числа специалистов и провоцировало бы столь же ожесточенные историографические дискуссии. Всех коснулись репрессии, но к историкам Французской революции они были особенно беспощадны – вплоть до практически полного исчезновения поколения, доминировавшего в 1920–1930-х гг. И вот наконец в 2009 г. в издательстве «Наука» увидело свет первое обобщающее исследование истории этой корпорации – монография доктора исторических наук, заведующего сектором ИНИОНа РАН Александра Владимировича Гордона «Великая французская революция в советской историографии».

Если оставить в стороне работы самого А.В. Гордона¹, до

Дмитрий Юрьевич Бовыкин, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ.

¹ Гордон А.В. Власть и революция: советская историография Великой французской революции. 1918 – 1941. Саратов, 2005); *Он же.* Великая Французская революция как явление русской культуры (к постановке вопроса) // Исторические этюды о французской революции. М., 1998. С. 219-245; *Он же.* Великая французская революция, преломленная советской эпохой // Одиссей. 2001. М., 2001. С. 311-336; *Он же.* «Десталинизация» Французской революции конца XVIII века // Россия и Европа. М., 2002. Вып. 2. С. 32-52; *Он же.* Встречи с В.М. Далиным // ФЕ 2002. М., 2002. С. 35-53; *Он же.* Великая французская революция. Метаморфозы нормативно-цивилизационной модели // Восток–Запад–Россия. М., 2002. С. 391-412; *Он же.* Великая французская революция в ретроспективе 1917 года. Становление советской историографии // Одиссей. 2004. М., 2004. С. 253-280; *Он же.* Я.В. Старосельский и его подходы к Французской революции // Политическая наука. 2004. № 1. С. 183-188; *Он же.* Б.Ф. Поршнев: впечатления и размышления // ФЕ. 2005. М., 2005. С. 43-62; *Вите О.Т., Гордон А.В.* Борис Федорович Поршнев (1905-1972) //

сих пор обращение к советской историографии этой революции шло в основном в биографическом ключе. Публиковалось немало подчеркнута благожелательных (чтобы не сказать больше) очерков о тех или иных ученых² с минимальной опорой на доступные документы. Появилось и несколько портретов историков на фоне их эпохи, основанных на архивах и устных воспоминаниях современников³. Между тем очевидно, что формирование этого немаловажного сегмента советского исторического знания – сложнейший феномен, требующий не только описания, но и неспешного вдумчивого осмысления. До сих пор в этом направлении делались лишь отдельные попытки, касавшиеся, как правило, конкретных личностей и сюжетов. Одним из первых такую попытку предпринял в своем ныне широко известном письме профессору Шен Ченсиню⁴ А.В. Адо, затем последовали статьи А.В. Чудинова (включая неоднократно переиздававшееся во Франции эссе «Смена вех»)⁵ и аналитические работы немногих других авторов⁶. Однако никто из коллег не ставил своей целью исследование феномена в целом, и оттого появление монографии А.В. Гордона вызвало у меня приблизительно те же эмоции, что в свое время вызвали у Ж.Л. Лагранжа открытия И. Ньютона: отдавая должное заслугам английского ученого, Лагранж называл

НиНИ. 2006. № 1. С. 181-200; Гордон А.В. Революционная традиция и имперские модели: историческая наука последнего сталинского десятилетия // Историк и власть: советские историки сталинской эпохи. Саратов, 2006. С. 96-135; Он же. Советские историки и «прогрессивные ученые» Запада // ФЕ. 2007. М., 2007. С. 213-253.

² См., например: Борисов Ю.В. Альберт Захарович Манфред // Портреты историков. Время и судьбы. М.-Иерусалим, 2000; Евдокимова Н.П., Петрова А.А. Владимир Георгиевич Ревуненков (1911–2004) // НиНИ. 2009. N 4.

³ См., например: Гладышев А.В. Г.С. Кучеренко: штрихи биографии // ФЕ. 2002. М., 2002. С. 183-206; Он же. Историк – руководящий: В.П. Волгин // Историк и власть: советские историки сталинской эпохи. С. 136-198.

⁴ Адо А.В. Письмо профессору Шен Ченсиню // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1996. № 5. С. 27-32.

⁵ Чудинов А.В. Прощание с эпохой (размышления над книгой В.Г. Ревуненкова «Очерки по истории Великой французской революции 1789-1814 гг.») // ВИ. 1998. № 7. С. 156-162; Он же. Смена вех: 200-летие Революции и российская историография // ФЕ. 2000. М., 2000. С. 5-23; Он же. Н.М. Лукин: у истоков советской историографии // Он же. Французская революция. История и мифы. М., 2007. С. 25-55; Он же. На руинах памяти: о новейших российских изданиях по истории Французской революции XVIII в. // Новое литературное обозрение. 2007. № 86; Он же. Накануне «смены вех». Советская историография Французской революции в начале 1980-х гг. // Россия и мир: панорама исторического развития. Екатеринбург, 2008. С.112-127.

⁶ Кроме указанных выше, можно также назвать: Летчфорд С.Е. В.Г. Ревуненков против «московской школы»: дискуссия о якобинской диктатуре. ФЕ. 2002. С. 207-222; Оболенская С.В. Первая попытка истории «Французского ежегодника» // Там же. С. 57-78; выступления А.В. Гладышева и А.В. Чудинова на коллоквиуме в Визиле 2006 г., опубликованные в ФЕ 2007.

его еще и самым удачливым, поскольку систему мира можно открыть лишь единожды. Что, разумеется, не исключает последующих дополнений и изменений этой картины.

Такую книгу не смог бы написать человек со стороны – изучая корпорацию лишь извне, не будучи знаком с ее внутренней жизнью. А.В. Гордон был учеником Я.М. Захера, начал публиковаться в первой половине 1960-х гг., защитил кандидатскую диссертацию об установлении якобинской диктатуры, принимал активное участие в издании классического труда П.А. Кропоткина и сочинений Л.-А. Сен-Жюста, писал об эпохе Просвещения. Он общался со многими героями своего исследования, работал с ними бок о бок, говорил с ними на одном языке. К тому же для понимания советской исторической науки устные источники обладают не меньшим, если не большим значением, чем письменные. Едва ли возможно ее анализировать без знакомства с богатейшей устной традицией, которое может приобрести только человек, являющийся частью сообщества. «Я не собирал воспоминания “со стороны”, – написал как-то А.В. по несколько иному поводу, – они приходили “сами”»⁷.

Однако такую книгу нельзя было написать и сугубо изнутри корпорации, без некоторой доли отстраненности. Проведя студенческие годы в Ленинграде и затем работая в Москве, автор не был институционально вписан в изучение истории Франции и охотно подчеркивает при случае свою «академическую маргинальность»⁸. Долгое время занимавшись Францем Фаноном и крестьянством Востока, А.В. Гордон может себе позволить смотреть на сообщество франковедов как бы извне, практически не будучи связан многочисленными нитями лояльности. Добавлю к этому и личные качества Александра Владимировича: мягкий юмор, отсутствие склонности к патетике, миролюбие. Характеристику, данную В.М. Далиным Захеру – «*très paisible*» (с. 206), – в полной мере можно применить и к его ученику. Несомненно, если бы эту монографию написал человек сражающийся и либо яростно нападающий на советскую историографию, либо столь же яростно защищающий ее, работа не вызывала бы такого интереса.

Помнится, в статье «Думают ли историки? А если думают, то зачем?» П.Ю. Уваров иронично замечал:

Одни изучают, как работают историки, как они работали или

⁷ Гордон А.В. Б.Ф. Поршнев: впечатления и размышления. С. 43.

⁸ Там же.

как им следует работать. Мы классифицируем их соответственно как эпистемологов, историографов и методологов. [...] Но существует и другая группа историков, которые по старинке пытаются писать историю по источникам», и их можно условно назвать «практикующие историки»⁹.

А.В. Гордон великолепно совмещает в себе обе ипостаси:

Не отрицая возможностей традиционной историографии и перспектив совершенствования институционально-научно-исследовательских изысканий, я нахожу необходимым для раскрытия советского исторического знания в его целостности избрать культурно-исторический подход. Это означает, что историческая наука предстает в книге особой частью специфической культурной традиции, сформировавшейся и эволюционировавшей в СССР (с. 7-8).

Подобный подход не только позволил создать впечатляюще кропотливое исследование, основанное на широчайшем круге источников: количество книг, статей, писем и воспоминаний, использованных А.В. Гордоном, поражает воображение. Кроме того, этот подход дал возможность избежать составления своеобразного путеводителя по советской историографии (с перечислением годов жизни, трудов и заслуг) и одновременно найти структурный стержень, вокруг которого строится вся монография. В отличие от авторов большинства историографических трудов А.В. Гордон решительно отказывается не только от подробного пересказа анализируемых им текстов, но даже, в большинстве случаев, не сообщает читателям их краткого резюме. Это, в частности, дает возможность уместить исследование в разумный объем, приведя многочисленные книги и статьи к единому знаменателю – концептуальному, поскольку именно концепции подробно обсуждаются, сравниваются и анализируются, а автор в значительной степени предстает в этой работе не только как историк, но и как философ. Плотность информации полностью соответствует плотности мыслей.

Другое дело, что доминирование культурно-исторического подхода помимо многих плюсов несет с собой и неизбежные минусы. Труды, приведенные к единому знаменателю, уже в силу этого становятся, по сути, равнозначными. «Качество» работ, вклад в мировую историческую науку отходят на второй план, важнейшие монографии встают «на одну полку» с проходными статьями. Это сбивает читателя координатную сетку, заставляет воспринимать книги ученых и конъюнктурщиков

⁹ Уваров П.Ю. Думают ли историки? А если думают, то зачем? Заметки о книге Н.Е. Копосова «Как думают историки» (М., 2001) // Одиссей. 2003. М., 2003. С. 303.

как равновеликие и, в конечном счете, не позволяет ни сориентироваться в содержательной стороне советской историографии, ни отличить специалиста по Революции от специалиста по умению угодить партийному начальству.

Помимо этого, возникает определенное противоречие между названием книги и ее содержанием, причем сразу в нескольких плоскостях. Почему вдруг в заголовок вынесено слово «историография»? Ведь в самом начале автор оговаривает, что понимает это слово в значении «советское историческое знание», тогда как, собственно, знанию или познанию внимания в монографии почти не уделяется – из текста складывается ощущение, что советские историки в основном интерпретировали уже введенные в оборот западными исследователями источники и факты. Почему в заглавии значится «Великая» революция, если это слово то появлялось, то исчезало из советского дискурса? Почему «Французская», если событие рассматривалось неотрывно от длительного всемирно-исторического процесса, завершившегося (или приостановившегося на время) в октябре 1917 г.? И, наконец, почему «революция», если советские историки постоянно меняли отношение как к сути явления, так и к его хронологическим границам – то включая в его рамки, то выводя за них Термидор и Директорию?

Избранный А.В. Гордоном подход непосредственно повлиял и на внутреннюю структуру монографии. Если рассматривать советскую историографию через призму научной и вненаучной полемики по наиболее спорным вопросам, логика исследования приводит, как мне видится, к необходимости построения первой (до начала войны) и второй части книги совершенно по-разному. Для 1917–1941 гг. характерна постоянная борьба (между марксистами и немарксистами, между марксистами и марксистами, за укоренение разнообразных марксистских концепций, а затем и единого Канона, беспрестанная критика коллег и предшественников), и погружение в перипетии этой борьбы позволяет автору объемно представить и историков, и их работы. Очевидно, что после формирования Канона от этих баталий остается лишь бледная тень.

Однако заданный первой частью формат потребовал построения в том же ключе и второй половины работы. И послевоенная историография неожиданно также оказалась подана через сражения: «историков-марксистов» с «буржуазной» историографией (50–60-е гг.), между «московской» и «ленинградской»

школами (70-е гг.) и за создание на «подлинно» марксистской основе современной картины революции (80-е гг.). Возник своеобразный парадокс: тот аспект советской историографии, который сам автор иронично обозначает, вспоминая однажды услышанную им замечательную фразу, как «борба с борьбой борбуется», стал логическим стержнем книги. Это, в частности, привело к тому, что историки, не участвовавшие ни в одной «борбе», фактически выпали из поля зрения автора: мы ничего не узнаем, скажем, об исследованиях Г.С. Чертковой, тогда как, даже если брать исключительно концептуальные моменты ее книги о Бабефе, она еще в 1980 г. пришла к шокирующему для советской историографии выводу, что «с точки зрения так называемых “формальных свобод” период термидорианской реакции – время большей демократии, чем якобинская диктатура (особенно ее последний период)»¹⁰. Возникли и хронологические сюрпризы: к примеру, о монографии Адо рассказывается не в главе, посвященной 70-м гг., когда книга вышла в свет, а лишь в главе о 200-летнем юбилее, когда появилось второе издание.

Культурно-исторический подход, на первый взгляд, объясняет и то, почему автор на протяжении всей монографии уклоняется от, собственно, анализа вклада советских историков в мировую историографию Французской революции. А.В. вписывает исторические труды в общественно-политический контекст, прослеживает эволюцию взглядов исследователей, привлекает внимание к наиболее полемически заостренным сторонам их концепций, обсуждает оценки коллег. Но при этом, безусловно, отходит на второй план то, что автор имеет дело все же не с философскими или публицистическими, а с историческими трудами, у которых хотя бы в теории (и, конечно, далеко не всегда на практике) кроме концептуальной предполагается и некоторая познавательная ценность.

Нет сомнений, что определение значимости тех или иных работ предполагает некоторые критерии оценки, а сформулировать эти критерии так, чтобы все коллеги с ними полностью согласились, невероятно сложно. Однако не секрет, что с начала 1990-х гг. советская историография постоянно так или иначе *оценивается*: как минимум, не прекращаются попытки понять, стало ли в результате усилий советских историков наше понимание Революции глубже и четче, введены ли были в оборот но-

¹⁰ Черткова Г.С. Грахх Бабеф во время термидорианской реакции. М., 1980. С. 92.

вые источники, признавались ли эти работы в мире и т.д. Существуют и сугубо формальные критерии, по которым оценивается любая квалификационная работа что в Москве, что в Париже – использование архивных документов, доказательность и т.д. Не говорит ли подобная повсеместность о том, что эти критерии мало у кого вызывают сомнения, не логично ли было бы хотя бы ими поверить обсуждаемые в книге Гордона работы? Ведь любой специалист по французскому XVIII в. без труда назовет те отечественные и западные труды, которые стали знаковыми «по гамбургскому счету». Так, к примеру, мне не приходилось встречать коллег, которые отрицали бы важнейшее значение исследований Адо о крестьянстве, Б. Бачко о Термидоре, А. Мейнье о переворотах времен Директории, Ж.-Р. Сюратто о выборах, А. Соболя о санкюлотах... Список нетрудно продолжить.

Вместе с тем советская историография в целом и вклад конкретных историков в частности являются предметом наиболее ожесточенных дискуссий. Одна точка зрения: «Советским историческим трудам [...] истинную и несомненную значимость придавала работа исследователей с источниками, обширные знания авторов, очевидные в трудах старых “эрудитов” – Тарле, Поршнева, Адо, и критическое усвоение современной научной литературы, а не формальные апелляции этих историков к марксизму»¹¹. Или: «Нуждаются ли в замене или, по крайней мере, “в ремонте” несущие конструкции массивного и в то же время изящного здания, построенного Манфредом, которое можно назвать “храмом Французской революции”? Отвечаю: конструкции надежны, в замене или ремонте не нуждаются»¹². Другая точка зрения прямо противоположна: «Тоталитарный режим [...] обрек советскую историографию на изоляцию и отставание от мировой науки»¹³. Или: «Можно говорить о влиянии (или об известности), которое было сродни славе ярмарочного монстра. Такова была, например, популярность того же Поршнева в начале 1960-х годов во Франции. От советских коллег ждали экзотической демонстрации своего марксизма, и, как правило, ждали»¹⁴.

В основной части монографии А.В. Гордона оценок прак-

¹¹ Мазорик К. Мои встречи с советскими историками Французской революции в 1960-1992 гг. // ФЕ 2007. М., 2007. С. 293.

¹² Борисов Ю.В. Указ. соч. С. 410.

¹³ Копосов Н.Е. Советская историография, марксизм и тоталитаризм // Одиссей. 1992. М., 1994. С. 65.

¹⁴ Свобода у историков пока есть. Во всяком случае – есть от чего бежать. Беседа Кирилла Кобриня с Павлом Уваровым // Неприкосновенный запас. № 5 [055]. 2007.

тически нет. Исключений, пожалуй, всего два: важнейшее значение работ Захера просматривается через тексты его зарубежных корреспондентов (с. 235–243); Адо называется «ведущим советским историком, [...] создавшим свой капитальный труд о крестьянском движении» (с. 259) напрямую.

Избранная автором позиция, несомненно, делает исследование более бесконфликтным и защищенным от критики, тогда как человек, обладающий необходимой квалификацией, может расшифровать «код Гордона» без особого труда (или тешить себя надеждой, что его расшифровал). И тем не менее А.В. оставляет читателя наедине с куда более глобальным и принципиальным вопросом: была ли советская историография Французской революции исключительно социокультурным явлением (которым, по сути, должны заниматься специалисты по советской политике и культуре, а не по истории Франции), или (некоторые? все?) советские историки все же сумели провести исследования на общемировом уровне и создать работы, которые окажутся востребованными хотя бы в ближайшей исторической перспективе?

При этом, разумеется, совершенно не обязательно, что читатель согласится с А.В. в том, что определяет это значение, поскольку сам автор занимает в этом вопросе позицию двойственную. С одной стороны, он не забывает особо отметить тех историков, чьи труды основаны на архивных материалах, что, очевидно, служит своего рода «знаком качества». С другой – трудно не обратить внимание на говорящий сам за себя автобиографический эпизод, относящийся к тому времени, когда только-только вышла книга В.Г. Ревуненкова «Марксизм и проблема якобинской диктатуры». Автор не без иронии вспоминает о своем изумлении, когда он увидел, что никогда ранее не проявлявший исследовательского интереса к революции профессор

выступает с намерением «подвести черту» под спорами о якобинской диктатуре! Я подумал, что решается моя судьба, ведь у меня уже была написана кандидатская диссертация «Установление якобинской диктатуры». А вдруг Ревуненков уже решил все проблемы? Прочтя за один присест книгу, я, не скрою, закрыл ее с облегчением: новых концептуальных идей не оказалось (с. 300).

Ключевым мне здесь видится словосочетание «концептуальных идей», поскольку, к примеру, я сам бы испытал подобный ужас лишь при мысли, что в оборот уже введены и проанализированы источники, которые лежат в основе моей диссертации, а отнюдь не потому, что кто-то может предложить свой ответ на те вопросы, которые возникали и у меня. Соответственно, логично

прийти к выводу, что основной критерий оценки качества исследований для А.В. состоит именно в концептуальной новизне, а не в архивных открытиях и введении в оборот (с последующим осмыслением) каких-то новых данных.

Если это действительно так, то весьма существенную для понимания научной ценности концепций поправку автор вносит уже на первых страницах. Еще до обращения к конкретике А.В. Гордон оговаривает, что «отправным пунктом в понимании своеобразия советской историографии как культурно-исторического явления» служит «соотнесение культуры советского периода с феноменами большой религиозной традиции, а именно с вероучениями» (с. 8):

Речь идет о глубоко ритуализованном мышлении, о наличии свода предписаний, о хождении специального языка для посвященных. Во главу угла любой работы полагались в качестве высшей научной инстанции цитаты из классиков, в любой библиографии их фамилии, наряду с партийными документами, ритуально следовали в нарушение алфавита впереди списка и даже выше источников. Ритуализовались и толкования цитат: не все из них и не всякому дано было использовать, важнейшие подлежали официальному апробированию.

Ритуальность означала признание абсолютной истины, воплощенной в каноне. Каноном служило Учение, выработанное в Советском Союзе коллективной мыслью нескольких поколений партработников и ученых, но сакрализованное обращением к Основоположникам. Его корпус существенно менялся, при этом наднаучный статус и основные части изменению не подлежали. Абсолютной истиной на всех этапах считались теория смены формаций, классовый подход, «теория отражения» («бытие определяет сознание»). Табуированию подлежал широкий круг положений, начиная с руководящей роли партии, высшей мудрости (и неизменности) ее генеральной линии; не подлежали обсуждению пролетарское происхождение диктатуры, социалистический характер Октябрьской революции и утвердившегося строя и т.д.

После подобного предисловия у читателя, не принадлежащего к данной религиозной традиции, не остается сомнений: в таких условиях никакое научное исследование, предполагающее рациональное познание прошлого, невозможно просто по определению. И процитированные в книге слова А.П. Свободина – «подгонка под ответ», «работа на формулу» (с. 118) – лишь подтверждают эту мысль.

Тем удивительнее было, дойдя до Заключения, увидеть итоговый вывод автора:

Можно констатировать, что по разнообразным и основопо-

лагающим компонентам, включая развернутый комплекс специализированных учреждений, профессиональную подготовку сотрудников, познавательную ориентацию, а главное – наличие критериев доказательности, т.е. аргументированности и логичности полученного результата, требовательность к фактологической базе и методике исследования, советское историческое знание несомненно наука (с. 360).

Как совместить «логичность полученного результата» с наднаучным статусом Канона? Как можно говорить о доказательности в рамках «религиозной традиции»? Признаться, эти вопросы ставят меня в тупик.

Но ведь возникают и иные, которых автор не касается в своей монографии. Возможны ли научные исследования без свободных дискуссий, т.е. без проверки результатов профессиональным сообществом, в обстановке, когда решение о том, что есть истина, принимает венаучная инстанция? Можно ли говорить о «познавательной ориентации» и «требовательности к фактологической базе» в ситуации, если значительная часть советских работ по истории Французской революции представляла собой интерпретации и реинтерпретации данных, изложенных в трудах зарубежных коллег? Если французские архивы и библиотеки были недоступны для советских историков с конца 1920-х гг. и до начала 1960-х, да и после этого отечественных специалистов, которые в них работали, можно было пересчитать по пальцам?

Удивительно, что, тщательно проанализировав идеологический фундамент советской историографии и его многочисленные трансформации, А.В. Гордон не затрагивает вопроса о том, что у исследователей в нашей стране сформировался весьма своеобразный *стандарт* написания исторических работ. Он начал складываться еще в первые годы советской власти, с книги Н.М. Лукина о М. Робеспьере, которую А.В. Гордон весьма «политкорректно» называет «исследованием, опирающимся на хорошее знание литературы и аналитическое осмысление значительного исторического материала» (с. 30). Что в действительности скрывалось за этим эвфемизмом, не так давно показал Чудинов:

...Механизм любого исторического исследования, в конечном счете, сводится к цепочке операций: постановка проблемы – анализ источников – решение проблемы. В книге же Н.М. Лукина «Максимилиан Робеспьер» подобный механизм, увы, отсутствует.

[...] К тому времени, когда Н.М. Лукин приступил к работе над своей книгой, политическая биография Робеспьера была уже достаточно подробно изучена французскими исследователями. [...] Ничего нового в этом отношении он, по сравнению с указан-

ными историками, не сообщил, а материал собственно источников если и привлекал, то исключительно в иллюстративных целях. [...]

[...] Следуя априорно заданной схеме объяснения Революции, автор «Максимилиана Робеспьера» не придает большого значения не только логической согласованности приводимых им сведений, но и хронологии изложения. В ряде случаев он даже допускает хронологические инверсии, трактуя более поздние события как причину более ранних. Так, сентябрьскую резню в тюрьмах 1792 г. он интерпретирует как стихийный ответ парижан на... «контрреволюционное восстание в Вандее», которое, в действительности, началось лишь в марте 1793 г.¹⁵

Я не случайно цитирую столь подробно, поскольку подобное отношение к фактам и источникам и было положено в основу советского *стандарта*. Тогда же появилось и представление о том, что для написания работы, в том числе кандидатской или докторской диссертации, достаточно, чтобы сюжет не разрабатывался до того в СССР (вне зависимости от того, насколько он изучен за рубежом). Темы выбирались вне зависимости от того, насколько они обеспечены имевшимися в распоряжении исследователя источниками, поскольку, как и у Лукина, цитаты из источников (нередко приводимые по работам зарубежных авторов) рассматривались именно в качестве иллюстративного материала.

Например, в монографии М.Я. Домнича читателям сообщается, что она «построена в значительной степени на первоисточниках – различных документах, газетах, а также брошюрах той эпохи, в том числе таких, которые не использованы в исторической литературе даже во Франции»¹⁶. Между тем по сноскам видно, что на самом деле построена она на литературе, «Парламентских архивах», *Moniteur* и на выбранных случайным образом немногочисленных номерах других газет – видимо, тех, которые нашлись в отечественных книгохранилищах. Другой пример – вышедшая в 1934 г. книга Ц. Фридлянда о Дантоне. В предисловии к переизданию Далин писал: «Эта книга представляет собой серьезное и оригинальное *научное* исследование. В книге нет ссылок, но она основана на первоисточниках...»¹⁷.

Нет сомнений, что оторванность от зарубежных архивов и библиотек – не вина, а беда советских историков. Но как в таком случае объяснить, что богатейшие архивы, имевшиеся на терри-

¹⁵ Чудинов А.В. Н.М. Лукин: у истоков советской историографии. С. 37, 38.

¹⁶ Домнич М.Я. Великая французская буржуазная революция и католическая церковь. М., 1960. С. 4.

¹⁷ Фридлянд Ц. Дантон. М., 1965. С. 8. Выделено мной. – Д.Б.

тории нашей страны или специально закупленные для Института К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР, остались практически неиспользованными – даже с учетом того, что при советской власти доступ туда был открыт не для всех? Несмотря на беспрецедентное издание части документов архива Бабёфа¹⁸, его, по большому счету, анализировали лишь Далин и Черткова, так не добравшиеся, впрочем, до самого «заговора равных». Насколько мне известно, всего несколько научных публикаций было сделано по интереснейшему фонду М.А. Жюльена¹⁹, хотя за пределами нашей страны этому деятелю Революции посвящена не одна книга. За исключением публикаций в «Литературном наследстве» в 1930-х гг. и вышедшего уже в 1989 г. сборника «Международные отношения в начальный период Великой Французской революции», почти неосвоенным остался бездонный Архив внешней политики Российской империи; к тому же последнюю публикацию документов даже не смогли снабдить научным аппаратом.

В этой связи небезынтересно, что А.В. Гордон касается вклада отдельных советских историков в изучение Французской революции лишь в Заключении и находит таковой, если воспользоваться словами из американской рецензии на книгу Фридлянда, преимущественно в «ярких подробностях и стимулирующих обобщениях» (с. 365). Кроме того, автор отмечает, что для ряда западных ученых марксистской или левой ориентации «труды советских историков первого поколения стали вдохновляющим примером, мировоззренческим, методологическим, а порой и источниковедческим ориентирами» (с. 368). Называются и конкретные имена: «Важнейшая советская работа о Жаке Ру и его единомышленниках – книга Захера 1930 г. явилась первой в мировой науке. Точно такой же новаторской, спустя 30 лет, стала монография Далина о жизни и творчестве Бабёфа» (с. 366). Кроме того, по словам А.В. Гордона, «важнейшим вкладом советских историков в мировую науку можно считать изучение борьбы в

¹⁸ Бабёф Г. Сочинения. М., 1975-1982. Т. 1-4.

¹⁹ Далин В.М. Марк-Антуан Жюльен после 9 термидора // Далин В.М. Люди и идеи. М., 1970; Киселева Е.В. Миссия М.-А. Жюльена в Бордо // ФЕ 1972. М., 1974; Погосян В.А. Марк-Антуан Жюльен // ВИ. 1989. № 11. С. 144-145.

деревне, начатое Н.М. Лукиным²⁰, равно как Е.Н. Петровым²¹, и замечательно продолженное в 50–70-х гг. А.В. Адо» (с. 366).

Судя по нарисованной автором картине, за советскими историками «первого поколения» следуют разрыв и пустота, лишь отчасти заполняемые одиноким именем Адо. Но не означает ли это, что в советское время была фактически уничтожена дореволюционная школа изучения Французской революции, опиравшаяся прежде всего на архивные источники? Не выглядит ли на этом фоне появление исследований Адо своеобразным чудом, никоим образом не вытекающим из приемов и методик его учителя, тем более что текст кандидатской диссертации Адо Б.Ф. Поршнева не читал и не правил? И, наконец, случайность ли, что научные (в классическом смысле слова) работы в существенно большем количестве появляются лишь в 1980-х гг., с изменением политического климата? Причем их авторы в основном формируются как исследователи в семинарах Адо и Кучеренко, не раз бывавших во Франции, живших там довольно длительное время, работавших в архивах и библиотеках.

Отдельного разговора заслуживает и сюжет о личном опыте советских историков. В книге он, разумеется, неоднократно затрагивается в самых разных ракурсах. А.В. Гордон отмечает, что часть ученых (Кареев, Кропоткин) в 1917-м и последующие годы словно проживали заново те события, о которых уже прекрасно знали, и это, в частности, позволило Карееву понять дороговизну во время событий, происходивших более чем за век до того. А у тех историков, которые были участниками революции в России, связывали свою судьбу с ней, стали учеными благодаря ей, появилась «потребность в политико-идеологическом обеспечении, а затем и в научно-теоретическом обосновании победы Октябрьской революции, в утверждении записанных ею на своих

²⁰ Об этом аспекте творчества Лукина Чудинов пишет: «...При внимательном прочтении указанных работ складывается впечатление, что описание фактов и их объяснение находятся в совершенно разных плоскостях, существуют независимо друг от друга. А все потому, что и здесь, как и в более ранних трудах, Н.М. Лукин в своих рассуждениях идет не от фактов, а от заранее заданной теоретической схемы. И так же, как и там, факты сопротивляются ей, ну а поскольку на сей раз они представлены в гораздо большем объеме, это сопротивление особенно бросается в глаза». – *Чудинов А.В.* Н.М. Лукин: у истоков советской историографии. С. 42.

²¹ Евгений Николаевич Петров (1888–1942) к моменту Октябрьской революции был уже достаточно зрелым ученым, сформировавшимся в лоне знаменитой «русской школы». Он начал публиковаться еще в 1911 г., а в 1918 г. уже читал курс лекций по новой истории в Саратове. Иными словами, называть его советским историком можно лишь с оговоркой.

знаменах идеалов» (с. 28–29). Таким образом, хотя автор и пишет: «Революция, а затем и постреволюционный режим испытывали большие потрясения и сложные пертурбации, которые кровно задевали судьбы ученых, преломляясь в их сознании» (с. 28), личный опыт историков трансформируется в его монографии либо в своеобразную форму самооправдания (мы стояли за правое дело), либо в знаменитый тезис М. Блока: «Понять прошлое с помощью настоящего»²².

Тем не менее я подозреваю, что более широкая постановка проблемы здесь также возможна: личный опыт не только способствовал пониманию революции (Французской через призму Октябрьской или наоборот), не только влиял на выбор объектов изучения и на интонацию исследования, но и – более глобально – формировал отношение к революциям и переломным эпохам вообще. Позволю себе полностью процитировать тот пассаж из Кареева, на который ссылается автор:

Мне нередко за последние годы ставились вопросы: не изменил ли я своих прежних взглядов на Французскую революцию под влиянием русской и не стало ли что-либо в первой мне более понятным на основании аналогичных фактов второй. На оба вопроса я считал себя вправе отвечать отрицательно. По отношению ко второму вопросу, впрочем, я всегда делал оговорку. Мне всегда казалось маловероятным, и я даже как бы не верил, что во время Французской революции за чашку кофе приходилось платить сотни или тысячи ливров. Я готов был видеть в этом одно из бывающих нередко преувеличений какого-либо редкого, исключительного, но чрезвычайно обобщенного факта. И, лучше сказать, я не верил, хотя на этот счет говорила масса достоверных источников, а скорее просто не понимал, как могла существовать такая невероятная дороговизна и как с нею справлялось население. Здесь была для меня некоторая невразумительная историческая проблема, которую разрешил для меня наш собственный исторический опыт. Но это и был единственный случай, когда для лучшего понимания Французской революции мне пригодился этот опыт революции нашей²³.

Возможно, без всяких на то оснований мне видится в этих словах определенное фрондерство и вполне четкий подтекст. Что объединяет эти две революции? Да ничего, отвечает Кареев, столь восхищавшийся Французской революцией в первые десятилетия XX в. Ничего, кроме бедствий! А ведь эти слова написаны не в октябре 1917 г., а не раньше лета 1921 г., когда параллели между двумя революциями, как показывает А.В. в своей книге, давно уже стали общим местом.

²² Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С. 27.

²³ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Лг., 1990. С. 292.

Возьмем другой эпизод, на который автор лишь намекает в своей монографии (с. 20), а более подробно рассказывает в другой статье. Речь идет о публикации резюме известного симпозиума 1970 г. по якобинской диктатуре, собранного Манфредом и Далиным для критики «заблуждений» Ревуненкова:

Манфред был крайне разочарован, найдя, что в таком изложении симпозиум выглядит ненужным. Он предложил дополнить отчет заключительным абзацем о несогласии участников с позицией Ревуненкова. Я возразил. Тогда вмешался присутствовавший при разговоре Далин. С обычной, чуть застенчивой улыбкой он предложил: «Саша, будьте якобинцем». «Не хочу», – отвечал я без улыбки²⁴.

Не наводит ли это на размышления, что «революционный романтизм в духе 20-х годов А.З. Манфреда и В.М. Далина» (с. 17) потому и был свойственен этим историкам, что они пережили революцию, – и ни в каком другом поколении он уже не мог быть воспроизведен? Когда мне довелось писать биографию Адо, вошедшего в научную жизнь уже в 1950-х гг., я не раз спрашивал его коллег, был ли ему свойственен этот революционный романтизм. Мне отвечали, что лишь в начале его карьеры. Я сам этого времени уже не застал. Тогда как и Далин, и Манфред пронесли его через всю жизнь, несмотря на то что оба в 1930-е гг. были репрессированы.

На мой взгляд, принципиально разный личный опыт – это то, что и сегодня разделяет российских и, к примеру, французских коллег. Очевидно, что мы выросли внутри диаметрально противоположных политических культур. В свое время мне довелось переводить статью коллеги и друга²⁵, посвященную праву граждан на «*délibération*» – т.е. праву на обсуждение некоей политической проблемы (до голосования или самой по себе) в рамках официального собрания, а не за его пределами. И оказалось довольно трудно подобрать сколько-нибудь адекватный перевод этого ключевого для всего текста понятия только потому, что в отечественной политической культуре прямого аналога подобной практике просто нет.

Можно рассмотреть и иной аспект. Среди французов немало людей, относящихся к революции восторженно, приветствующих ее, считающих себя и сегодня бойцами, как принято

²⁴ Гордон А.В. Встречи с В.М. Далиным. С. 47.

²⁵ Абердам С. Право избирать и право решать в 1793 г. // Современные исследования о французской революции конца XVIII века. Памяти профессора А.В. Адо. М., 2003. С. 182-212.

было говорить в нашей стране, «идеологического фронта». У российских историков, современников «революции 1991 года», эта тенденция часто вызывает сочувственные улыбки. И случайно ли, что единственным зарубежным ученым, сумевшим, по моему мнению, не только понять, но и прочувствовать Термидор, стал польский эмигрант Бронислав Бачко, переживший сталинский Террор, голод, болезни и нелегкий труд в советском колхозе во время войны? В предисловии к российскому изданию своей книги он сравнил «десталинизацию» и тяжелый «выход из террора» в СССР во времена «оттепели» (чему он лично был свидетелем) с теми процессами, что происходили во Франции в 1794–1795 гг. Сделал он и еще одно любопытное наблюдение:

Крушение советской империи и выход из коммунизма дают историкам возможность поставить новые проблемы в сравнении двух революций, французской и русской, поскольку отныне обе они окончательно завершены. В свете их контрастирующих друг с другом финалов необходимо переосмыслить и начало, и путь каждой из них²⁶.

Пожалуй, Б. Бачко абсолютно прав: с окончанием революции Октябрьской закончился определенный этап жизни и ее «прототипа-антипода», революции Французской. В монографии А.В. Гордона также прослеживается постепенное затухание революционного пафоса: от поколения революционеров через годы ностальгии по временам «комиссаров в пыльных шлемах» к разочарованию 1970–1980-х гг. Так, в определенном смысле, советские историки повторили путь, пройденный французами в годы Революции.

²⁶ Бачко Б. Предисловие к русскому изданию. Термидор и термидоры // Бачко Б. Как выйти из террора? Термидор и революция. М., 2006. С. 15.